

К. Н.
ЛЕОНТЬЕВ

Сочинения



Константин Леонтьев

Лето на хуторе

«Public Domain»

1855

Леонтьев К. Н.

Лето на хуторе / К. Н. Леонтьев — «Public Domain», 1855

«...Михайла сначала оробел барских слов, но потом ободрился, кашлянул опять в сторону и принялся пускать. Вот как он пускал: сперва вынул из кармана настоящий ланцет и, завернув на мускулистой руке большого рукав рубашки, перекрестился; потом приложил ланцет, да как пустит – все так и ахнули! Мало того, что выпустил три чашки крови из руки, он еще приставил ему в самые ноздри двух пиявок, делал и еще что-то – и через полчаса Петр Васильевич задышал гораздо свободнее. Барыня тут же дала Михайла красную депозитку и сказала:– Ну, Миша, Бог тебя награди, а я уж не забуду!..»

Содержание

I	5
II	12
Конец ознакомительного фрагмента.	16

Константин Леонтьев

Лето на хуторе

Повесть

(Д. Д. Высоцкой)

I

В том самом месте, где речка (сажен 20, впрочем, шириною), пробежав мимо села и капустников, разливается на два рукава, стоит тот хорошенький хуторок, на котором мне так хочется отвести глаза. И стоит на него посмотреть, особенно человеку, не избалованному картинностью природы. Противоположный берег очень крут, и на нем во всю вышину разрослись березы, а на верху обрыва прекрасный луг на несколько верст в ширину и длину. Из окон на хуторе все видно, когда кто-нибудь едет в телеге или верхом по противоположному берегу; только местах в пяти застыт березки.

Рукав начинается на правом берегу, обросшем лозником и жирной травой, против самой тропинки, протоптанной на обрыве; тут выходит в реку песчаная коса, и над ней-то возвышается строение, в котором уж шестой год живет деревенский портной, Михайла Григорьев, и дочка его, Маша, с такими глазами, что и цвета их нельзя определить: днем кажутся они серыми, а когда придет вечер, они станут как черный бархат. На хуторе скотником назначен муж родной племянницы Михайлы Григорьевича, Степан, черноволосый мужик, очень большого роста и весьма добродушный нравом. Он женат уж давно и прижил четырех детей; жена его, Алена, хотя и косит немного свои карие глаза, но свежа, румяна и очень моложава. Степан, которого я не без основания называл мужиком, был, однако ж, из дворовых, именно сын скотника, но ходил он совсем по-русски и по праздникам, летом, носил рубашки из красного ситца с белыми, дикими и черными разводами, которые очень шли к его лицу, южному и цветом, и очертаниями.

Ему было тогда только двадцать лет, и он отличался высоким ростом, силой и имел очень легкомысленный и оболъстительный вид, когда надевал свою красную рубашку, заламывал набок поярковую шляпу с бархатками и пряжками и выходил на торг, наигрывая на гармонию, покачиваясь и улыбаясь. Однако все его легкомыслие вполне удовлетворялось игрой на гармонии и притопываньем, когда молодые девки водили хоровод. Отцу он был очень послушен, набожен и несмел с женщинами. Только, видно, от судьбы своей и ему не удалось уйти. Алену никто не замечал на дворе; она находилась при низших должностях в хоромашах и большую часть своего молодого времени проводила в вязаньи чулок и ковриков. Но у нее был врожденный вкус, и она предпочла высокого черноволосого молодца всем худошавым и сладкоречивым ловласам в немецких платьях, которые наезжали к ним летом из Москвы и Петербурга. Степан ухмылялся, стыдился как будто; но, оставаясь наедине с нею под вечерок, вовсе не чувствовал никакого неудовольствия, когда Аленушка, слегка скосившись, брала тихонько его руку и примеряла ему свои кольца, или снимала с него шляпу и вертела ее долго в руках, что-то мурлыкая про себя.

Он обыкновенно говорил в таком случае, протягивая руку:

– Что ты шляпу сняла?.. нехорошо так, простоволосому... а? Алена? а? право слово, шляпу взяла...

Однако раз случилось, что они так-то сидели вечером при лунном свете и он потянулся за шляпой, да, вместо шляпы, попал рукой к ней на плечо, покрытое красивой холстинкой. И

хотя рука его была довольно тяжела, однако Алена не пошевелинулась – и так они просидели с час, пока она, вздохнув, не сказала:

– Пойду в людскую; небось ужинать сели.

А он отвечал:

– Дай-ка шляпу-то... Ишь ты, пряжку-то куда сдвинула!..

Она пошла, а он стоял на одном месте и смотрел ей вслед, запустив одну руку за пояс, а другой поправляя на плече свой новый серый кафтан, и смотрел до тех пор ей вслед, пока она, взойдя на крыльцо людской и с размаху ударив обеими руками в тяжелую дверь, не вогнала ее вовнутрь и не скрылась за нею. Тогда он произнес, тряхнув кудрями: «Экая гладкая!» – и ушел домой.

Потом их женили. Потом барыня передала управление сыну; сын построил на мысу Петровский Хутор, по случаю хороших соседственных пустошей, и заблагорассудил назначить скотником туда Степана, как опытного человека в деле скотоводства и смиренного, послушного малого. К тому же прикащик не без основания заметил, что и Алена едва ли будет не полезнее своего мужа на хуторе, потому что она очень любит скотину, работяща и даже подчас лечит коров. Последнее было справедливо только по видимым результатам. Правда, Алена дала однажды какой-то травы одной заскучавшей корове, но трава и предписание как действовать пришли к ней от родного дяди ее, Михайлы Григорьева, который за ремеслом портного скрывал еще и другие, более блестящие таланты. Никто почти не знал о его склонности к врачеванию до той поры, когда он, при удобном случае, открыл свое знание. Случай этот был вот какой. Сын их барыни, человек лет тридцати, приехал из Петербурга и цвел необыкновенным здоровьем; но здоровье это, видно, было излишнее, и однажды, после ужина, богатого мясом и винами, он почувствовал себя так плохо, что упал на кровать. Другие увидели тоже, что плохо, потому что он весь посинел, и послали за доктором, который жил в 20 верстах. Барыня приказала нестись во весь дух! Пока коляска неслась по большой дороге довольно грустно, благодаря обманчивому бегу лошадей и любви к ним кучера, мать и приближенные обступили кровать с искренним ужасом. Барин был любим... В эту тяжелую минуту вошел в спальню Михайла, нетвердою поступью приблизился к больному и, два раза откашлянувшись за рукой, спросил у барыни позволения пустить кровь из руки у Петра Васильевича...

– А то ведь это удар, – прибавил он более тонким голосом, желая придать ему убедительность.

Мать была дама решительная и быстро произнесла:

– Пускай, Михайла, ради Бога, пускай!

Михайла сначала оробел барских слов, но потом ободрился, кашлянул опять в сторону и принялся пускать.

Вот как он пускал: сперва вынул из кармана настоящий ланцет и, завернув на мускулистой руке больного рукав рубашки, перекрестился; потом приложил ланцет, да как пустит – все так и ахнули! Мало того, что выпустил три чашки крови из руки, он еще приставил ему в самые ноздри двух пиявок, делал и еще что-то – и через полчаса Петр Васильевич задышал гораздо свободнее. Барыня тут же дала Михайлу красную депозитку и сказала:

– Ну, Миша, Бог тебя награди, а я уж не забуду!

К рассвету приехал доктор из уездного города и, поглядев на пациента, объявил, что он спасен, и похвалил Михайлу за находчивость.

Михайла прищурился, поклонился ему и, загородясь, по обыкновению, рукой, кашлянул. Доктор постоял, покачал головой, накушался кофе, взял пять рублей серебром и уехал.

Когда утром Михайла скромно проходил через прихожую, дворецкий не выдержал и, передернув плечами, воскликнул:

– Эй, ты, дохтур! а дохтур! приди-ко, брат, ко мне чай пить ужо... Вот что! у меня... у жены что-то все зубы болят, дохтур.

Потом дворецкий обратился к стоявшим тут людям и сказал им:

– Зубы!.. уж который день. А он вон кровь пускает!

На это люди ничего не отвечали, а только один из них, махнув головой кверху, сделал: *гхе!* и остался минут на пять с раскрытым ртом.

Михайла пошел к дворецкому чай пить только по второму зову, дал жене его какой-то настойки и потом целый день, как ни в чем не бывал, стегал себе на своем катке.

Только через два дня обнаружилось в нем припадки самолюбия. Раз, после обеда, он стал очень весел лицом, чаще кашлял и, явившись на большой двор без шапки, заложил руки за спину и долго ходил взад и вперед по двору, изредка поглядывая на окна хором и улыбаясь.

Никто не мог уговорить его уйти спать, а строгих мер госпожа не приказала употреблять с ним; и он ходил до тех пор, пока Алена, его племянница, которая в то время только что стала женой Степана, не пришла на господский двор и не сказала дяде:

– Дядюшка, пойдите спать! Барыня вам велит идти спать...

– Барыня? – спросил Михайла, – врешь ты... Где ты барыню видела?

– Сейчас была у нее, полотно относил. А она и говорит: «Скажи дяде, чтоб он ушел; если он уйдет, я буду у тебя крестить»...

Михайла немедленно ушел.

Хитрая Алена и не думала носить полотна. Она знала, что дядя хочет, чтоб барыня крестила будущего ребенка, и потому солгала, чтоб спасти его от господского гнева.

Она принесла себе этим немало пользы: с одной стороны, приобрела окончательное уважение дяди; протрезвившийся Михайла, выпросив у барыни прощенье, поблагодарил ее за милость, которую она оказывает сироте, его племяннице, тем, что собирается крестить у нее перворожденного младенца.

Барыня знала уже про штуку Алены и обещала непременно крестить, присовокупив, что племянница у него прехитрая.

Михайла и сам узнал, в чем дело, и целый день твердил, сидя на катке:

– Эка баба! эка зелье! Вся в меня пошла!..

Другое благоволение было со стороны барыни, которой вовсе не хотелось, чтоб Михайла своим непослушанием извлек из сердца ее благодарность. И, наконец, третья выгода была со стороны мужа, Степана. Степан, который и тогда был сильно склонен к игре на гармонии и к красным рубашкам, даже гораздо более склонен к ним, чем к ходьбе за скотом, со всех сторон слыша про жену, предоставил ей совершенно бразды домашнего правления, и эта власть никогда, даже и после переселения на Петровский Хутор, не была нарушена.

Только раз случилась с ним оказия вроде михайловой. Он приехал домой из села не совсем приличный. Там, после долгой беседы с поваром Егором, который назвал его «зюзей» и «феклой», решил он потрясти влияние Алены. Возвратясь, он начал с того, что повесил на гвоздь кафтан и кушак, потом сел к столу и пригорюнился. Алена в это время снимала с полки пустые крынки. Обернувшись и увидев мужа таким угрюмым, она подошла к нему и спросила с некоторой нежностью, которой она понабралась еще в барском доме:

– А что, Степаша? Али неможется?..

Степан покачал головой и, не говоря ни слова, стукнул кулаком по столу.

– Э! – воскликнула Алена, – да ты, Степаша, подгулял!..

Степан произнес отрывисто:

– Нет! А зачем ты всем распоряжаешься? Повар говорит, что ты голова, а не я!

– Вот замолол! – заключила Алена и пошла себе доить, только сарафан сзади покачивается.

Степан еще раз стукнул кулаком вслед ей и сказал:

– Да! зачем распоряжаешься? на то разве ты баба? Да!

После этого он так крепко задумался над сказанным, что Алена с детьми отужинала без него. На другой же день с рассветом все пошло старым порядком.

Между тем подвиг Михайлы стал известен многим, и многие вспомнили, что он и прежде помогал кой-кому. Один рассказывал, что он в запрошлый великий пост давал каких-то капель старосте Акиму; другой говорил другое, и т. д. Помещица, разговаривая с сыном о его болезни и пособиях портного, вспомнила, что Михайла ходил в продолжении семи или восьми лет по оброку и жил, как тогда ей сказывали, у одного очень хорошего лекаря в довольно дальнем, но немалом городе: тогда все стало яснее; и когда сам Михайла был позван и расспрошен тщательно о прошедшем, доверие к нему в доме окончательно утвердилось. Он признался, что доктор был очень добрый старик и многое показал ему, давал читать лечебники, подарил ему несколько своих тетрадок и часто хвалил его сметливость. Барыня, страдавшая от времени до времени печенью и еще кой-какими мелочными недугами, совершенно доверилась Михайле, и он немало ее поддерживал.

Когда она умерла, сын и наследник ее призвал Михайлу и сказал ему, что за тогдашнее спасение и за многое другое он отпускает его на волю вместе с малолетней дочерью и просит его назначить самому себе какую-нибудь награду, сообразную с здравым смыслом.

Михайла тотчас же попросил себе позволения построить на его земле особым жильем, точно так, как отстроены все семейные дворовые люди. Барин подумал и согласился, спрашивая только: где же? Михайла изъявил желание жить на Петровском Хуторе вместе с племянницей и там же хотел иметь клочок земли для двора и огородика.

Так все и сделалось.

Между тем подрастала Маша: ей было уж тринадцать лет. Молодой барин, приехавший надолго в деревню, не забывал своего прежнего доктора. Часто, после обеда, ложился он на диван своего кабинета, закуривал сигару и посылал за Михайлой.

– Ну, что скажешь? – говорил он, лениво отряхая пепел.

Михайла кашлял слегка, выражая этим свое почтение, и отвечал:

– Все слава Богу-с... Благодарение-с...

– Благодарение? – спрашивал барин. – Что ж? – лечил кого-нибудь?

– Нет, то есть сегодня-с никого не было. А вчерась приходила старуха из Подлипок...

Рихматизмы сильнейшие! Пластырь дал.

– Ну, и хорошо! А знаешь ли что? Дочка у тебя растет красавица – а? Михайло?

– Что это вы-с изволите говорить! Еще от полу-то недостаточно поднялась. Чувства, то есть, разума никакого нету.

– Что ж, ты любишь ее небось?

– Известно, своя плоть.

– Ну, да... А подрастет, так и жених найдется.

– Дело далекое-с! Конечно, у всякого человека своя планита есть, и вот хошь так, для примера, и в болезнях планиты, то есть звезды небесные, имеют действие свое на человека. У всякого, то есть, свое... оттудова все-с... Как они там расположены, так и человеку...

– Да где ты все это повидал?

Но Михайла только улыбался, храня в тайне источники своих познаний и бессвязных для постороннего уха речей.

Барин приказывал ему говорить яснее и требовал каких-нибудь новых подробностей, каких-нибудь анекдотов насчет его пациентов, потом засыпал под восторженный шопот чудака, и доктор на цыпочках удалялся.

Вскоре, однако, и для Маши звезда засветила поярче.

Приехали к Петру Васильевичу из Москвы родные: двоюродный брат с женой и детьми.

Молодая кузина была веселое существо, беспрестанно бегала всюду, все рассматривала и всем восхищалась в прекрасно устроенном имении Петра Васильевича.

– *Quelle charmante enfant!* – воскликнула она, встретив Машу в саду. – Пойди сюда, душенька... Какая ты хорошенькая! Хочешь ты ко мне служить? Я добрая.

– Хочу-с.

– Кто твой отец? чья ты?

– Михайлина-с.

– Так ты вольная?

– Да-с.

– Так хочешь ко мне?

– Хочу-с.

Позови ко мне своего отца, я с ним поговорю... Вот тебе конфетка...

Михайла с радостью согласился отпустить дочь в Москву, в богатый дом, и низко поклонился молодой даме.

Через две недели Маша покинула родину; и когда, через четыре года, летом она вернулась домой повидаться с отцом и погостить у своих месяца с два, никто ее не узнал – так была она высока, стройна, красива и так хорошо одевалась.

Не говоря уже о молодых людях женского слоя, считавших ее недоступною, хотя она вовсе не была горда, шутила, плясала и пела со всеми, помещики, встречавшие ее где-нибудь, заглядывались на ее красоту, и один молодой господин, Дмитрий Александрович Непреклонный, начал даже лечиться у Михайла для того только, чтоб чаще видеться с нею. Но Маша была себе на уме... Впрочем, об этом после.

Через два месяца Маша уехала в Москву, и через год отец выписал ее снова, с намерением выдать замуж и поселить около себя, для успокоения своих преклонных лет.

Прошло не более двух недель после Святой и месяц со дня возвращения Маши в отцовский дом, как на Петровский Хутор приехала из города старуха Аксинья, жившая в кухарках у одного учителя русского языка. Старуха была кума и родственница Михайле Григорьевичу.

– Добралась, добралась, родимый! – воскликнула она, помолившись на угловой образ. – Уж шла, шла... Как есть, все пешая шла от городу-то до самого, как есть, до Христовоздвиженья... Ей-Богу, право-ну! шла, шла! уж такой простой это управитель у них... Добрый, как есть добреющий человек... «На, возьми, старая ты этакая, говорит, да садись вон к мужику к нашему... он в Салапихино тоже...» Ну и довел. А то бы, без его милости, не дошла б; вот ти крест, не дошла б... Такая, друг, оказия!.. Ох, дай-ка, друг, присяду...

– Садись, кума... Маша, ты б чайку-то нам... – сказал Михайла.

– Уж самовар стоит давно, сейчас закипит, – отвечала дочь и вышла в сени.

– Ну, что, кума?

– Да что! мое дело старое, живу! А я вот все на девку, друг, на твою гляжу... Эка девка-то вышла какая! И то сказать, ведь мать-то какая, покойница, была из себя видная. Ну, да все не то... Эта-то не в пример красивее... И уж нежная она у тебя какая... Небось, и рук-то ни к чему не присунет.

– Ничего! то есть, чтоб пожаловаться, так нельзя... Девчонка во всем исправная... Да оно и видно, сейчас из Москвы... то есть из столицы. Дом богатый; во всем порядок идет.

– Знаю, знаю... Ох, друг, уморилась-то как я!.. Сестра Анфиска-то вчера, как в Салапихино-то я приехала с мужиком... «Ну, куда тебя на хутор несет?.. Успеешь, не за горами». – Нет, говорю, друг, уж дай пойду... Дельцо у меня есть до него бедовое. – «Да ты, дура, говорит, останься... Разве мы тебе не рады?» Это она мне... Нет, говорю, уж дай пойду лучше погощу у тебя... Только не гони, друг, сама после! Ей-Богу, кум, такая!..

– Какое ж это ты дельцо затеяла?.. Кажется, что бы это так? И в поре-то было, то есть в молодых летах, да дел-то у тебя немного бывало, а нынче уж за делами стала ходить...

– Э, э! да ты все брехун какой был, такой и есть!.. А дело-то хорошее для тебя...

– Ну, говори, говори... Или лучше уж, как отдохнешь да чайку напьешься...

– И то, друг, и то! А то и язык-то словно вместе с ногами по земле тащила: ничего и не скажешь путем... Больно много говорить-то надо...

Однако не успела болтливая кума выпить и двух чашек чая, как уже приступила прямо к объяснению дела.

– Вишь ты, хозяин-то мой... учитель-то... Знаешь небось, друг? Ведь ты сам его видел в запрошлом году против поста, как в городе был, ко мне заходил – а? Знаешь, что ль?

– Знаю, как не знать. Видел я учителя твоего.

– Ну, ну... Ох ты Маша, Маша! полно тебе чай-то лить уж меня пот так и прошибает... Ну, давай, давай чашку-то... Э-эх!

Михайла начинал терять терпенье.

– Да ну, старуха, говорила бы давно... Что размазываешь все – экая какая!

– Говорю, друг, говорю... Так это учитель-то. Вот вишь ты, друг, прихожу я к нему: «Батюшка, дескать, Иван, говорю, Павлыч, отпусти к родным... всего на недельку... Я тебе другую кухарочку на это время приищу... Еще молоденькая есть у меня такая, не мне, старухе старой, чета – мордастенькая такая, белая». А он-то такой простой: «Ну, что за беда! ступай, говорит, не нужно мне твоей мордастенькой: я к Подушкину схожу пока обедать». Простой, как есть, самый простой человек. «Ну хорошо, говорю, дай Бог тебе здоровья, батюшка», да сама было и за дверь... Рада, известно... «Постой! кричит, нет ли у тебя из родных кого-нибудь... чтоб этак мне на лето поехать?» А мне сразу и невдомек... на кой пес, думаю, ему к нашим?... «Я, говорит, понимаешь, нездоров, так хочу в деревню на лето... Узнай у своих, нельзя ли нанять у кого комнату... Да чтоб место хорошее было, веселое... чтоб гулять где было». Башка, кум, плохая, старая... «Не знаю, батюшка», да и вон из горницы... Уж это после... этак к сумеркам пришло мнение об тебе... Вот я докладываю... Есть у меня кум, Иван Павлыч, да не знаю, какое его на это будет согласие. Человек, говорю, хороший, дом чистый... Все как есть... А он и давай спрашивать... И кто такой, чем занимается, и реки есть ли, и рощи... того намолол, что и не перечтешь... А как сказала, что ты мол, лечишь, пользуешь... засмеялся этак потихоньку – понимаешь?... «Ну, говорит, Аксинья, уж с леченьем-то его Бог с ним... Мне еще жить-то не надоело».

– Ну? а ты что ж? Так и смолчала? – прервал Михайла.

– Какой смолчала!.. Оять-таки ему стала хвалить тебя... «Ну, говорит, ступай себе». Ей-Богу, такой славный человек!..

– Ну, спасибо, старуха... Дай-ка я об эвтом подумаю, а после и ответ тебе дам. Да ты не забудь, смотри, все скажи, как поедешь.

Михайла думал дня два и решил сначала внутренне, что это дело неплохое – взять с молодого учителя рублей двадцать пять серебром за все лето.

Накануне своего отъезда в город Аксинья зашла на хутор проститься. Михайла предложил ей довести ее в Салапихино на своей лошади и, сев с ней на телегу, обратился к ней с следующим вопросом:

– А что, ведь он, то есть барин-то твой, охаверник какой-нибудь... какие-нибудь прожекты любит небось?

– И, что ты, что ты!.. И такой-то смирный. Чтоб в карты или вино бы любил – и не подумает... Читает себе день-деньской да пишет; разве Подушкин этот, тоже учитель, забредет... так в шашки сядут... Да и то никакого буянства нет: сидят себе да свищут оба...

Михайла изложил ей все свои условия и, оставив старуху в Салапихине, вернулся домой.

– Ну, дочка, – сказал он Маше, – комнатку твою надо попростать.

– Ну, что ж... я подмету хорошенько, платье свое вынесу.

– А где ты сама спать будешь?

– Где? да хоть к Алене пойду...

– Зачем? ты лучше в кладовой... Травы я возьму, а то голова будет болеть... очень уж дух сильно сперся. А сам на сеннике буду ночевать...

– Вот уж я на сене не люблю, смерть, – возразила Маша, – пыль такая... козявка всякая...

– А по мне эта козявка ничего...

II

Солнце село необыкновенно красно за теми полями, которые оборвались к реке против хутора такой крутой и зеленой стеною. Незадолго до заката прошел сильный дождь и, размочив всю окрестность, вызвал из нее тысячи свежих и крепких запахов. Воздух был истинно благо-растворенный. Мшистые и кривые стволы ракут, нагнутые над строениями, совсем почернели от сырости, и только стороны их, обращенные к заре, принимали чуть видный розовый колорит... Тусклые окна Михайлы стали совсем красные.

И Михайла ощутил некоторое влияние живописной и благоухающей окрестности. Будучи в добром расположении духа, он кликнул Машу, дошивавшую у окна отцовскую рубашку, и велел ей достать из старого шкапа довольно плохую сигару.

– А много их там осталось, Маша? – спросил он, закуривая сигару не без тщеславия.

– Пять... нет, шесть. Одна вон куда закатилась.

Михайла вздохнул и вышел на порог своего жилища.

– Эка благодать Господня! – произнес он, перекрестясь, и, прислонившись к притолке, долго стоял, прищуриваясь и улыбаясь.

Как он переменялся в эти шесть лет! Белокурые волосы окончательно поседели везде – и на висках, и на затылке, и на усах; лицом и телом он пополнился, но мелких морщин прибавилось много... Вообще же старость наложила на него печать своего достоинства: он стал лучше на вид.

Долго стоял он у дверей и покуривал молча, пока наконец Маша не вышла к нему.

– Ты куда ж это? – спросил отец.

– Пойду к Алене... Уж скотину никак пригнали.

– Что ж ты, доить помогать?

– Вот доить! Так пойду посмотрю...

– А ну, как подоишь?

– Ну, что ж, если и подою? Руки-то не отпадут!..

Маша убежала, а Михайла продолжал курить.

В этот день он ждал своего пациента, про которого столько наболтала кума, и голова его была так полна новостью положения, что он едва заметил, как мимо него, шагах в двадцати, прошли к реке все коровы, понукаемые звонким бичом маленького подпасака, как раздался грубый бас Степана, и как коровы, напившись, пошли опять к скотной. Одна из них, бурая, с белой головой и огромными рогами, даже очень долго стояла и смотрела на него, но была, как и другие, прогнана мальчишкой, прежде нежели успела обратить на себя внимание озабоченного старца.

Ему бы теперь очень хотелось узнать повернее, который час, но белые стенные часы с лиловой розой на циферблате уж третий месяц показывали ровно двенадцать.

А между тем тот, кого он так ждал, давно катился по дороге от села к хутору, и молодой сын салапихинского управителя был осыпаем вопросами о стране и ее жителях.

– Говорят, у него есть дочь?

– Девчонка важная! – отвечал белокурый деревенский фат, – бедовая девчонка! Плясунья такая; гармонии эти пойдут, пляски, песни... Из себя высокая, – продолжал он, поднимая свободный от возжей кулак, – перехват здесь этак по-московски... улыбнется, знаете, и глазишками... ух-ты!

«Должно быть, потерянная как-нибудь», – подумал Васильков, вздохнув. Потом спросил опять: – А отец-то сам лечением только и занимается?

– Михайла Григорыч-то? Нет-с, они портные, шьют всякое платье... Капиталец тоже имеют свой, как люди говорят... Сам я не считал-с. Ну и лечит... по селам ездит, от всех болез-

ней вылечивает. Человек умный! сам себя остромысленным человеком называет... сколько жителей на земле знает... Такая, говорит, есть наука: остромыслие, говорит...

– Неужели?

– Как же-с! Вот хуторок-с.

Телега, гремя, въехала на мостик, перекинутый через рукав, и в то же самое время взорам путников предстала вся семья Михайлы, расположившаяся ужинать на открытом воздухе, у порога степановой избы.

Телега остановилась.

– Хлеб-соль! – воскликнул, приподнимая картуз, сын управителя. – Ешь щи, да только не пищи!

Степан захохотал. Учитель слез с телеги. Все встали из-за стола.

– Все ли благополучно-с доехали? – спрашивал Михайла, кланяясь. – Где ваш чемоданчик-то? Эх, ты, братец Степан! Ну, что стоишь? Возьми-ка, подиними вещи-то с телеги.

Степан, с детским любопытством погружившийся в созерцание широкого и белого пальто приезжего господина, казалось, забыл все остальное, лениво подошел к телеге, закричал сам на себя: «ну, тащи... эх!», и взвалил чемодан на плеча.

– Неси ко мне! – сказал Михайла. – Небось, батюшка, устали? Это то есть с дороги-то-с, сейчас бы и лечь?

– Да, это правда, я таки-устал.

– Уж не побрезгайте нашим жильем: оно ведь хоть и новое, да все то есть самое простое.

– Я и сам человек простой, – отвечал учитель, – за многим не гонюсь... Было бы чисто.

– Ну насчет этой чистоты можете быть в надежде! Я-с даже ужасно беспокоился...

Разговаривая таким образом, они вошли в дом и достигли той комнаты, в которой жила прежде Маша.

– Не знаю, как вы то есть будете довольны помещением? Я ужасно беспокоился об вас...

– Помилуйте! Комната очень хорошенькая и просторная.

– Да-с, комнатка хорошая... Дочь жила... Вон и зеркало свое забыла на столе... Вам оно не требуется?

– Нет, возьмите, – отвечал Васильков.

– Постелька вам приготовлена – все как надо, – продолжал хозяин. – Сторку я вам повесил на окне; еще из старого барского дома сторка осталась, а то солнце поутру ударение делает... Чайку не угодно ли?

– Нет, благодарю вас... Дайте мне только огня; я сам разденусь... Я хочу спать.

Михайла зажег свечу, и через полчаса наш молодой путешественник спал крепким сном.

– А не хорош постоялец, – заметила Алена, оставшись вдвоем с Машей.

– Чем же не хорош? Кажется, что недурен...

– Нашла хорошего! Чорный какой!.. Волоса предлинные...

– Вот еще какая! – возразила Маша. А твой муж не чорный? Уж черней его и нет никого.

– Так что ж? разве он хорош? Нашла хорошего!

– Ах ты Господи! А попроси-ка его у тебя – не отдашь.

– И-и-и! да еще в придачу зипунишко старый отдам! – воскликнула, смеясь, Алена.

Таковы были мнения женщин на хуторе об Иване Павловиче Василькове.

Когда на следующее утро он проснулся, первым движением его было посмотреть на окно; на окне была та старинная сторка с пейзажем, которую накануне он не успел рассмотреть; теперь же она показалась так хороша, что он привстал на постели и долго не сводил с нее глаз. Среди сплошных масс яркой и не совсем естественного колорита зелени выступал маленький храм в греческом вкусе, довольно удачно осененный ветвями; у подножия его пастух, в костюме французского фермера, задумчиво пас стадо белых овец, а на более отдаленном плане женщина, с сосудом на голове, удалялась в чашу, за храм. На всем этом ландшафте, слегка

колыхавшемся, – потому что окно было открыто, – на всем ландшафте весело играло утреннее летнее солнце; лучи его пробрались между ветками старой ракиты, развесившейся над окном, и падали светлыми пятнами на стору. Одно пятно упало, как нарочно, на то место, где весьма смелый, но не очень даровитый художник вздумал изобразить один из тех ярко зеленеющих просветов, которые попадаются в темных чащах лесов. Иван Павлович, рожденный в городе среди очень скромного класса людей, почти не знал обаяния старины... А стора была писана в наивные времена мадригалов и сладких пастушеских мечтаний, которым с такой мимолетной, но горячей отрадой предавались наши отцы и деды. На ней был изображен один из тех милых анахронизмов сборного идиллического блаженства, которые с такой любовью писались в век идиллий. Но не мысли о прошедшем шевелили Ивана Павловича при взгляде на стору. Он видел зелень, он видел солнце, рощу, греческий храм – он догадывался, каково должно быть утро, слышал веселое, до ярости веселое чириканье воробьев и пение петухов, которые оканчивали свои возгласы с такой интонацией, как будто были рады исполнять свою обязанность перед лицом прекрасной природы. И вся живительная прелесть ясного летнего утра взывала к нему; и он, умывшись и накинув пальто, вышел в другую комнату.

Маша встретила его почти в дверях.

Иван Павлович поклонился, не поднимая глаз, и хотел вернуться.

– Что ж, чай прикажете к вам принести? – спросила Маша.

– Нет, – отвечал Иван Павлович, – стараясь сделать свой голос грубым и все не глядя на нее, – нет, я выйду сюда. Где же Михайла Григорьич?

– Он в огороде-с, – сказала Маша и пошла в сени за самоваром.

Маша напоила его чаем, Маша подмела и стала убирать его комнату. Все это его очень сконфузило, и он как можно скорее ушел в садик посмотреть на Михайлу, который, без сюртука и жилета, в розовой рубашке и затрапезных панталонах усердно полонил на грядине всякую дрянную траву. Иван Павлович, не зная, что делать из своей персоны, стал до поту лица помогать ему. Потом ушел в рощу и долго сидел там в совершенном онемении; наконец вернулся около полудня домой. Тут увидел он, что книги его подняты с полу и довольно порядочно разложены на маленьком крашеном столике... Он узнал этот столик, вспомнил, что на нем стояло вчера московское зеркальцо Маши и ее шкатулка. Это очень тронуло Ивана Павловича. Пощупав без всякой видимой цели ножку стола и побарабанив пальцами по всем книгам, он решил выйти на крыльцо, где работала Маша, и просить у нее дощечку и гвоздиков, чтоб устроить себе полку; потом прибавил, помолчав:

– И молоток... молоточек также... А то, знаете, прибить нечем...

– Кого прибить? – спросила Маша, откусывая нитку и собираясь встать.

– Гвоздики... – отвечал Иван Павлович скромно. Она встала, и глаза их встретились.

Маша рассмеялась.

Иван Павлович внезапно улыбнулся тоже.

Маша принесла две доски, несколько огромных гвоздей и молоток к нему в комнату.

Иван Павлович собрался лезть на стул, чтоб приколачивать, но она остановила его, сказав:

– Охота это вам беспокоиться! Дайте-ка я приколочу, а вы только подавайте гвоздики.

И, быстро вскочив на стул, она начала вбивать гвозди Довольно сильной рукой.

– Зачем же мы так высоко прибиваем? – заметил Иван Павлович, вдруг опомнившись.

– Да ведь две полки... Какие же вы чудные! Уж если верхнюю низко пришьешь, куда ж будешь другую-то доску прибивать?

Иван Павлович кивнул потихоньку головой. Правду сказать, ему очень хотелось завести разговор с Машей, да он никак не знал, с чего начать.

А она все вбивала гвозди, стоя на стуле, и при каждом движении руки выгибался немного назад стан ее, опрятно подтянутый поясом, и слегка морщилось от стука свежее лицо ее, которое казалось Ивану Павловичу особенно мило в том несколько зеленоватом полусвете, кото-

рый бросала в комнату сторка, украшенная густой рощей. Правда, он находил Машу при свете слишком румяной; теперь он едва ли сознавал, что находил ее какую-нибудь, а только стоял как столб и следил за каждым движением природно-стройной и сильной девушки, присоединявшей к истинно простонародной свежести умеренную кокетливость. Конечно, для человека, который больше видал женщин на своем веку, не остались бы скрыты многие угловатости в словах и приемах Маши, хотя всякий человек со вкусом не отнял бы у нее ни пышности форм, ни жизни лица, ни естественной грации. Но для Ивана Павловича!.. Иван Павлович, как и всякий мужчина лет 25-ти, успел уже видеть хорошеньких и грациозных женщин, но все это вдалеке, в каретах или на гуляньях, большею частью во время своего пребывания в Москве; с тех же пор, как он продолжал свое тихое существование в губернском городе, он постоянно встречал только жен и дочерей городских обывателей, жеманных и пискливых, которые были ему несносны, и он не знал почти моральных сношений с этим полом.

Итак, красивость Маши очень располагала его разговариваться, к тому же побуждала его немало роль наблюдателя, которую он имел в виду и никак не мог начать, по причине своей медленности и еще потому, что судьба далеко не с избытком снабдила его даром практического наблюдения. Волнуемый своими нравственными идеями, он решился почти без труда молчать и ждать, чтоб она заговорила первая.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.